



На снимке слева направо: С. Шаргунов и В. Личутин

ние донного невода с затягиванием сложных узлов уже обещает плеск и трепет пойманных жизнью...

«Сначала под сугробами заточились ручьи, хлопотливо завозились, как цыплаки под наседкою, но в какую-то неделю слизнули с тундры студёные смертные покровы, и вода-снежница, что не нашла ходу в Печору, скоро скопилась в низинах, в логах под веретьями, в мёрзлых болотинах и чахлах воргах, разлилась в широкие, рябые под ветром прыски...»

Не всё понятно, но всё зримо до одури, щекочет весенний ветерок. Иногда думаешь, а уж не подтрунивает ли он над читающим, так близко собрав причудливые словечки, да и не разыгрывает ли? Все ли эти слова в самом деле существуют?

Почти невозможно поймать его на неточности, но личутинское обращение к корневой лексике — это не работа филолога, окружённого надгробиями словарей, а вдохновенное волхвование. Он воскрешает далёких предков с их удивительной узорчатой речью, он отдаётся на волю поэтической стихии народной души, и, воспламенившись, в одно касание делает очередную мёртвую окаменелость жаркой и сладкой. Отсюда и всегдашнее обитание в его прозе лиц и судеб самых разных поколений, какую вещь не возьми — «Белая горница», «Душа горит», «Дивись — гора», «Вдова Нюра», «Любостай», «Душа неизъяснимая», «Раскол»...

Друзья зовут его Личутка. В этом имени и лучина, и шутка, и чудо, и виден он весь: с лукавым и зорким синим глазком.

Окающий говорок, звонкий, пронзительный голос, чудится, вот-вот сорвётся на поморские причитания.

Проза Личутина стройна, загадочна и чарующа, будто заговор (неслучайно одна из его повестей называется «Последний колдун»). Порой теряешь нити смысла, но всё хитросплетение подчинено какой-то тайной цели, как и вяза-

Скрытный, как всякий чудодей, он лишь сознаётся, что северное краснословье осело в нём, «как ил на дно реки». Судя по всему, взбаламучивает себя, выворачивает донное богатство, уходит в маревое полузабытьё, и тогда на страницы хлещут и льются таинственные райские глаголы.

Личутин пишет не предложениями — отдельными словами, которые звонко лобызаются, христосуются друг с дружкой, как пасхальные богомольцы в огромном храме.

Это не просто возвращение благозвучных, мало кому знакомых слов, обычно сопровождаемых сухим довеском «устар.», не просто непрерывная манифестация архаики. Личутин — литературный новатор, в чьих писаниях — претензия на революцию стиля. Одним словом он даёт второе рождение, другие вынашивает, рождает, и вскармливает самолично. Точно «речетворец»-будетлянин, для которого неизведанное грядущее смыкается с диковинным прошлым, он свободно и смело играет языковой гущей.

К этой прозе можно было бы присобачить химическую фразу «супер-эстетизм», но и определение «любование красотой» излишне. Личутин не наблюдатель, он, пожалуй, и не любит, он даже отказывается оценивать, что есть красота, он стремится, не рассуждая, слиться с природой во всей её естественной полноте. Природа — главная героиня всех его книг — отстраняет и делает не важными мысли, характеры, сюжеты, потому что и люди-простецы, крестьяне, рыбаки, охотники, и их скромный честный быт — продолжение природы.

«Только на Севере метафор снега около ста двадцати!» — воскликнул писатель в нашей беседе. Однако метафоры ли это в привычном понимании?

Он — переводчик с природного на русский. Музыка, которую он, как сказал мне, однажды уловил и ловит с той поры, есть музыка природы, где сквозь мнимую нарочитость и даже вычурность («еста», «скоркать», «шолнуша») доносятся шорох волн, криканье уток, безмолвные плачи рыб...

Много ли личутинских страниц отведаешь за один присест? Ну кто — как. Книжки не для всех. Скажу за себя: впитываю эти речные и луговые, и лесные, и беломорские пейзажи, как будто вижу их живую, и не всякое понимая слово, чувствую сердцем — «синют гривы дальних сузёмков», «косо парусит мрелое солнце», «зыбятся отроги сугробов» — и, сам не замечая, всматриваюсь снова и снова в один и тот же абзац, в нём растворяясь.

Помню его в храме, притихшего и неспешного, затеплившего свечу, которую он, попадая в ритм протяжного хорового пения, мягко ввинчивал в гнездёнку латунного подсвечника подле старинной иконы Николы Угодника.

Помню его ярым и диким. В каком-то писательском застолье кто-то затеял водочную драку. Первым бросился разнимать Личутин, ловкий, юркий, неожиданно сильный. Взорвалась стеклянная дверь, а он стоял, мал да удал, разметавший всех по углам, и хохотал из золотисто-рыжей бороды, с ногами, посеченными осколками, в окровавленных штанах.

Помню его среди голубоватых сугробов, на солнечной опушке, глядящего нежно в небо, с шерстяной шапкой в руке, внутри которой спряталась тайна — может, найденный зимний гриб, а может, подаренная лесом сто двадцать первая метафора снега.

Владимир Владимирович, вы — певец и пророк Поморья.

Белое море — это райское море. Потому что в далёкие времена там был рай. И люди жили там сколько хотели. Вот хочет человек триста лет жить, он и живёт, устал — и умирает.

Ногти-то стригли и не выбрасывали, собирали в тряпочку их, чтобы по смерти в гроб их клали. И когти эти помогали по алмазному склону горы Меру карабкаться наверх, в рай.

Моя родина — город Мезень, старинный, теперь его хотят из города превратить в посёлок, чтоб люди уехали, и все богатства получить без народа. О народе надо заботиться, кормить, поить, благоустраивать, а без него — забирай кладовку. На русском Севере, где ни копни — всё скопище драгоценностей. Наше приданое, которое Господь дал на тысячи лет вперёд. А теперь потеряли совесть и честь, и грабят, грабят...

Я ещё застал характер, быт, обряды русского Севера. Прибыток помору доставался через смерть. Суровая жизнь, но не могла она быть скучной, серой, неприглядной, отвратительно тяжёлой. Русский характер её освещал и показывал во всём цвете. Она была вся расцвечена неслышимой песней. На Севере и так пели всё время, но и была та музыка и та песня, которая жила в душе. И облик людей был другой, с каким-то благородством и светом. Иконописные лица. Мягкое лицо, васильковые глаза. У всех мужиков — бороды. Старики были беззубые, но это не виделось, потому что усы и борода так отрастали, и ямку рта совсем закрывали. Борода — это образ Христов. Тебе тоже надо бороду завести!

Вы всегда с бородой?

С двадцати четырёх. Я один раз её сбрил, думаю: как убого сразу! Стыдно!

Кем были ваши родители?

Родился я перед войной и чудо, что выжил. В нищете-то. Отец погиб в 1941 году, в октябре месяце. Учитель он был. А мать — колхозница. Они полюбили друг друга, когда ей было четырнадцать, а ему восемнадцать. Четверых родила.

Радовалась, когда вы стали писателем?

Я приезжал в сапогах, неряшливый, непритязательный, порывачить. «Ну что ж ты приличную профессию не займешь. Вон одноклассник твой, Вовка-то Манькин, у него три костюма, а ты-то в чём? Оборванец. Брось это дело, займись хорошей работой».

Что вас радует в жизни?

Меня радует каждый прожитый день. Хотя уныние всё чаще настигает с возрастом. Ну, стараюсь его подавлять. Радуют успехи детей, если они случаются. Радует солнце, радует написанная страничка. Радость, которую надо уметь находить в себе, в самой малости, делает жизнь полной, впечатляющей, красивой... Если не чувствовать радости и не носить их в сердце своём, то человек кончается ещё при жизни.

А огорчает многое?

Многое, многое...

В первую очередь огорчает то, что русский народ без руля и ветрил катится растерянно куда-то... Не будем говорить, что в пропасть. Но в то болото, из которого, увязнув, очень сложно будет выбраться. Мы брошены в состояние растерянности, русский народ кинут, кинут... Без пастыря любой народ, тем более русский, превращается в стадо. Он чувствует беды, но не знает, как из этих бед выбраться. И вот меня-то особенно огорчает, что те, кто стоят у правила, безвольны, и, вроде бы уповая на Бога, не хотят слышать Бога, и всё время оставляют народ в России на волю волн. А если на волю волн, значит, судёночко в другую минуту станет боком к волне — и его опрокинет.

Вот это меня огорчает. Что-то личное в жизни не складывается — это совсем

другое огорчение. Это временно, оно пришло, и схлынуло. А вот огорчение, которое связано с судьбой русского народа, глубоко устоявшееся и непроходимое. И я думаю, что это огорчение постоянно живет и в твоей душе...

Живёт. И тревога есть, как бы не потерять страну.

Да, так в душе каждого русского интеллигента, кто воспитан на национальных заповедях. Казалось бы, что проще всего? Засветить маяки, расставить по берегам — куда двигаться, чтобы не попасть в беду. Но вот этих маяков и не засвечивают.

Или ставят ложные маяки.

Или ставят ложные. Обнадеживают, запутывают. Там, может быть, водовороты тайные, может быть, камни, подводные корни. Такое ощущение, что всё время судёно наше направляют не в ту сторону. У румпеля-то стоят, рулем правят, даже какие-то знаки нам показывают: туда, туда, туда. Но мы всё время чувствуем: не туда, не туда, не туда.

И мы живем в предчувствии того, что сейчас напоремся на камни и корни. На стамухи ледяные сядем днищем, и нас перевернёт. Вот оно — главное огорчение: мы можем перевернуться в любую минуту.

А может это случится через 1000 лет. Мы это не знаем. Но тем сокрушительнее то огорчение, которое нас навестило однажды и в нас живёт.

Получилось так, что была одна антисистема, советская, но она поворачивалась уже лицом к народу, она переосмыслилась... И на смену ей неожиданно пришла новая антисистема — вот это наше нынешнее состояние. Антисистема — это когда народ-кормилец подвергается насмешке и презрению, небрежению. А земля, мать-кормилица, предаётся хуле.

Вы про деревню?

Конечно. Даже по телевизору, в газетах, нигде нет о том, как живет русская деревня, как живет наш народ на селище, чем озабочен, какие его беды настигли, как его поднять из невзгод бесконечных и из печали вызволить. Нигде ни одной вести! Ни из какого угла не доносится ни одного сопечальвания, сопереживания: «Братцы! Русский народ-то гибнет! Надо его спасать! Ибо если погибнет деревня, всё рухнет, всё рухнет. И уже не спасти...». Ни одного зова ниоткуда. И также и сверху — сплошное молчание. А надо заново оживлять русскую землю. Вот самая земля... В центре её стоит дом.

Тоскуете в городе, или и в нём находите очарование порой?

Честно говоря, я не люблю городов. Я их не знаю и не помню. Прожив в Москве сорок лет с лишним, даже не знал, где Красная площадь. Начал её разыскивать, всех спрашивать: как туда добраться? И в Питере не знаю, где был мой Университет.

Возможны ли сегодня писатели, как их называют, деревенщики? Чувствуете себя таковым?

Серёжа, у меня такое впечатление, что я остался в единственном числе.

Я много проживаю в деревне, пусть не круглый год, потому что плоть уже изнежена, но по крайней мере я знаю русскую деревню изнутри. Когда я в деревне, на рыбалку каждый день хожу. Был чуть моложе — и охотился всё время. Лису бил, зайца, тетерева, уток... Я стараюсь о ней писать, о деревне-то. Почему я неотступно, с таким тщанием и усердием любопытствую о русском народе? Я — это волоть из его толщи, едва видимая глазу волокнистая нить из его древесной болони, и потому, размышляя о матери сырой земле, стараюсь тем самым понять и себя.

Вы любите заповедные слова. Здесь, наверно, надо пояснить, что волоть — это волокно или былинка...

Понимаешь, пренебрежение к деревне существовало и раньше, вот и пошло прозвище «скобарь». Такое насмешливое отношение к крестьянину, спасителю деревни... Но раньше деревня пусть и переживала не очень хорошие дни — существовала. Там ещё можно было черпать силы. Русские писатели, в основном — выходцы из деревни, кинулись искать пути одухотворения её жизни, искать главную справедливость. И повторяли они интеллигентов конца XIX века...

Народников?

Народников, которые пошли искать правду в деревне. Тут в чём своеобразный анекдот получается. Когда изменились времена и настал этап самого настоящего спасения деревни, эти писатели остарели или иссякли духом, а новых и не появилось... Печаль вся в том, что деревня осталась без защитника.

А такого, между прочим, не было никогда. Всё время находились какие-то люди. В XIX веке особенно: фольклористы, интеллигенты, разночинцы, дворяне, которые искали духовные истоки внутри, в сердцевине народа. Теперь это духоподъемное пламя стало потухать. Если деревни-то не будет, то и русского-то народа не будет.

Помираем?

Не-ет... Уныние надо бросать! Нужно всё время повторять: возможно, необходимо, надо, сделаем. Ибо как уничтожается что человеком, точно так же и восстанавливается.

А деревню можно восстановить даже за пять лет. Это биологический цикл — от телёнка до коровы. За пять лет можно накормить Россию.

Труднее восстановить национальный дух, иссякающий... Но настоящий духовный чернозем составляет многие сотни лет, и печаль надо оставить: нация тогда пропадёт совсем, когда пропадут последние наши люди, будто Адам и Ева.

Безысходность страшнее всяких болезней. Каждое слово, произнесённое с экрана или напечатанное в газете, должно быть наполнено силой жизни, а не внушением того, что всё кончилось и ничего не возродить. Иначе, если слово печальное вчинивается в душу человека, то вроде бы нет никакой причины, а человеку плохо, и он погибает. Вот говорили: «Нельзя ничего возродить, через двадцать лет в России останется 50 миллионов населения». Изо дня в день эти самые все ученые, демографы, социологи, кто только ни кричал: «Ничего не сделать! Бесплезно! Посмотрите, во Франции популяция тоже сокращается!». Но русский человек — не француз, не немец, который живёт в тесной кухне. Им некуда рожать. Они так уже благодетельствованы и так размягчены своим существованием, что каждый лишний рот для них страшная нагрузка. Они говорят: «Боже мой! Как его кормить, когда он у меня отнимет кусок изо рта?». А русский живёт на гигантских пространствах, и сами пространства заставляют рожать.

Когда все лучшие, десять миллионов мужиков на войне погибли, и остались девки молодые с тоской, я помню по своему детству, в каждом доме или через один дом — незаконнорожденные. Никто не оскорблялся, никто друг друга не дразнил... И нация пополнилась десятком миллионов сразу.

Ну, хочет человек детей деревенских — дай ему землю, помоги построить дом, помоги построить дороги. А то, что получается... Вот у нас на Северах человек выходит в отпуск летом и весь отпуск убивает на дрова. Зимой же тяжелые условия. Тогда почему бы газ не подвести в первую очередь на Севера? Нет у нас газа,

понимаете? Везде бьются мужики заготовить топливо, а газ везут в Германию, где и так тепло. Рожайте, германские женщины, готовьте новое воинство.

Вы автор романа в трех книгах «Раскол» о церковной войне на Руси.

Принялся я писать этот роман в 43 года, а закончил в 58 лет.

Тот религиозный раскол до сих пор сохранился... Недавно был я у старообрядцев, у митрополита Корнилия, и разговаривали на эту тему. Одна сторона хочет раскол замять, и ту старообрядческую сторону подчинить, влить в себя... И думается: может и не надо растворять ту ветвь староверчества, которая сохранилась с XVII века. Пусть она сохраняется как свеча неугасимая, которая бы нам показывала пример, какой была русская жизнь прежде.

Мы же должны ориентироваться на русскую жизнь не только в книгах, но и видеть её конкретно. Понимаешь? Поэтому даже этот раскол, который был бедой, превратился во благо. У меня возникла мысль: может быть, это благо?

Вот я был в общине, в рижской стороне поморского согласия, там у них церкви нет, они беспоповцы — моленный дом. И я увидел, как они молятся. Это церковь воинов. Они стоят строго, как солдаты, руки на груди скрестив, вот так, вот так... Они не шелохнутся, они молятся, поют. У нас в церкви, к которой я принадлежу, Московской патриархии, народ расслабленный, стоит пониклый, бродит, шатается, кто-то разговаривает, постоянно хлопают двери. Бывает, поп что-то скороговоркой бормочет, не разобрать — так принято, хоть за это и ругали в XVII веке, надо отчётливо произносить каждое слово.

И когда я там побыл, в моленном доме, то проникся к тому прошлому восторгом. А должен был воспылать к ним может и отвращением. О староверцах же писали: «косный народ», их же веками шпыняли. Какой правительственный гнев был на них излит и какое презрение за сотни лет!.. Их угнетали, они сгорали на кострах. А я наполнился к ним почтением: «Боже мой, какая была русская вера!». Они, уловив мой восторг в глазах, сказали: «Может быть, вы перейдете в нашу веру?» Я говорю: «Как-то неприлично смётываться туда-сюда».

Поэтому я думаю, пусть этот островок веры и живет бесконечно, как икона древнего письма.

Ваш юбилейный год совпадает с Аввакумовским, которому 400 лет. Вам ближе Аввакум или Никон?

Почему мне близок Аввакум как народный мыслитель и защитник догмата? Нельзя трогать ни одну букву. Как затронул — всё шатнулось. И сейчас соблазнитель много кругом: «Да смахни ты букву, она не нужна...» А родовая природа-охранительница говорит: «Нет, не тронь букву ради Бога!»

Всё же дети держали Аввакума в природе человеческой, а Никон был монах. И по глубине ума, по дарованию он несравнимо выше был Аввакума. Сначала у меня было отношение к нему как к главному раскольнику, который сбил Русь с заповедного пути, в пучину драмы бесконечной столкнул ради честолюбия... А иногда думаю, может он — самый выдающийся человек семнадцатого века.

А какой сейчас главный раскол?

Раскол, созданный нынче, между богатыми и бедными. Мы его не знали, мы забыли о нём. Мы не знали и забыли, что такое капитализм, где раскол естественен, а вошли в новое правило жизни.

Кстати, я никогда не думал, что можно воспитать советского человека, и вот лет через десять после свержения советской власти вдруг понял, что в глубине своей и я, оказывается, советский человек. То есть я остался русским, но по ка-

ким-то взглядам сделался советским. Хотя и не стал коммунистом, большевиком. Всё равно совесть была главной судиёй.

Никогда не были в партии?

Никогда не был в партии. Меня много раз приглашали, но я отговаривался, что не созрел ещё. Я всего в комсомоле два года был, потом вышел, заявив, что комсомол разлагает молодежь. Это был 1964 год, Ленинградский университет. В комсомол меня приняли в армии, а в двадцать четыре года я уже вышел, уже понял, каким образом создаются все эти фарисеи-догматики. Вырвался, испугавшись, что почти туда вплыл, в это русло...

Расскажите про этот ваш мятеж.

Работал я слесарем на Пермиловском лесозаводе, потом служил в армии, потом пришел на Адмиралтейский завод фрезеровщиком. Фрезеровщик — профессия очень интересная, кстати. Был я такой всполошливый, энергичный. Вместо того, чтобы стоять у станка фрезерного и делать атомные лодки, я занимался общественной работой: выпускал стенгазету, потом в КВН ребят собирал своего цеха, писал в газету заметки, в Адмиралтейскую многотиражку. Поступил на журфак университета. У меня уже стали выходить эфиры на ленинградском радио. Ещё немножко, и взяли бы инструктором в комсомол, и там глядишь, в райком комсомола... Но я увидел, как засасывает и затаскивает человека в номенклатуру и понял, как делаются догматики-фарисеи. И я об этом сказал со своего опыта.

Как сказали? Обличили их подобно Аввакуму?

На втором курсе собрание было, и я встал да и просто заявил, что Комсомол нужно разогнать, потому что он разлагает молодёжь. Я прочувствовал, что сюда рвутся люди, не готовые к конкретному труду, пустозвоны такие... Все подумали, что я тронулся.

Тогда-то я инстинктивно догадался, а всё обнаружилось в 1991 году: именно выходцы из комсомольской верхушки стали первыми, кто схватил власть и капиталы, и сокрушил государство. Даже партийные секретари были более крепкими и более чистыми, чем эта «молодяжка» развратная, потому что сама система их развращала: пьянки, девки, близость к деньгам, загранпоездки, фальшь... Внутренне будучи слабыми, они поломались. Мой путь был туда тоже... Из рабочего — туда. Но я спасся!

А вы рано стали писать?

Скажу один случай, который впоследствии подсказал мне, что какая-то во мне бродила смущённость и смятенность. Когда я учился в техникуме лесотехническом, ездили мы на практику. Жили в избе деревенской у охотника, который убил тридцать три медведя, красивый такой тип. И он мне рассказал историю про дезертира, как он убежал в 1914 году из армии и жил в избушке. Жена ночью зимой ходила к нему, носила еду.

Почти распутинское «Живи и помни»...

А однажды она пришла — это 10 километров от деревни — а он повесился. Она разобрала доски, выдолбила яму под полом и там его похоронила, а потом уехала. Меня поразил этот подвиг женщины. Надо же иметь такую крепкую русскую крестьянскую натуру, не бояться в тайгу прийти, волки кругом, а там висит муж. А избушка охотничья — она же маленькая, висит муж, снять его, выдолбить ямку, захоронить, и с детьми уехать из деревни. Я написал об этом в тетрадке ученической и послал в «Юность». Из «Юности» пришёл ответ: «Спасибо, работа слабая, но работайте».

И вот я понял теперь-то задним умом, что во мне тогда что-то уже бродило. Потом всё это во мне заглохло. После армии начал писать стихи. Поступил в Горный институт, работал. Брат пришёл ко мне, он тоже жил в Ленинграде, прочитал мои стихи и говорит: «Слушай, зачем тебе разведка месторождений? Как бродяга, будешь скитаться по горам, по тайге... Поступай на журналистику. Стихи же пишешь». Ну, я и пошел на журналистику, поступил. Это был второй этап.

Я писал довольно много стихов, публиковались. Даже хотел сборник издавать. Но потом выкинул эту графоманию.

Прям графоманию?

Графоман я был, графоман. Работал на радио, писал полотна радиийные. Мне один знакомый писатель говорит: «Володя, что с тобой случилось? Ты же был графоман». Я говорю: «Сам не знаю». Например, я писал, когда работал в университете: «Зори, как алые стрелецкие кафтаны». Вот это первый признак графомании!

По-моему, мило.

Графомания! Ярko вроде бы, но отстранённый совершенно от жизни образ. Придумано в голове. Графоман придумывает. А писатель черпает из самой глубины жизни.

Но у вас вся проза нарядная.

Это да, слово должно быть красно украшенное.

«Светло светлое и красно украшенное», как наша земля из древнерусского текста?

Ага. И это зависит только от психики. Я ведь не специально так. А вот это затягивает...

Когда вы поняли, что начались как писатель?

Откуда-то что-то берётся в человеке... Вот говорят: «Бог потрогал его ладонью по голове». Так точно и случилось. Могут быть варианты: или Бог погладил, или упасть виском, или кувалдочкой по голове дали.

Своего рода помешательство?

Стал слышать внутри себя музыку. Возникла тонкая музыка. Музыка создает литератора, музыка. И слова, которые казались неинтересными, вдруг приобрели новое звучание под эту музыку.

И вы нашли тему — русского Севера?

Я же с Севера родом. Как раз появилась повесть «Привычное дело» Белова, это 1966 год. Я работал на радио, прочитал эту повесть, и меня поразило, с какой любовью он написал о самом простом. Там были те слова, в которых я жил. Да я же в этом мире сам жил, у Белого моря. И эти слова вдруг наполнились такой красотой, таким смыслом. И случилась внутри меня какая-то революция. Революция духа. Я тогда был неверующий, в церковь ещё не ходил. Но произошло какое-то преобразование в человеке...

Вам довелось пообщаться с легендарным писателем русского Севера Борисом Шергиным.

С Шергиным я встречался за два года до его смерти. Он здесь жил в Москве, на бульваре. Старичок в рубахе, в отопках таких...

В отопках?

В калишках.

В калишках?

В обрезках валенок. Плешистый, костистый старичок. Огромные глаза, светло-голубые, слепые, и два огромных уха. Радужно встретил: «Володенька, пой-

дём чайком угошу!» Он жил одиноко. Ему ногу трамваем отрезало в молодости, и он не женился никогда. Девушка ему отказала, и он дал обет девства. Когда мы познакомились, он уже десять лет был совершенно слепой. У него каждый сантиметр был руками и подошвами ощупан. Окно завешено солдатским одеялом, солдатская койка, полочка, этажерка, а на стенке фотография маленькая: он с Кривополеновой Марьей Дмитриевной, сказочницей. Он чайник достал, печенья пачку. А я решил нарисовать его, и говорю: «Борис Викторович, тут ваш портрет». И придвигаю ему блокнот с рисунком, он взял так перстами, тонкие, длинные пальцы, чувствительные, он сам был художник тоже ведь, щупает: «Ой, Володенька, как похоже-то!» *(Смеётся)*.

Я читал вашу первую повесть.

Ты читал, да? Я писал её в общежитии на тумбочке, жили в комнате пять человек нас, журналистов. Они все хохотали надо мной. «Белая горница».

Красочная вещь.

Я даже не знал, как показать объяснение в любви. Она сказала: «Я тебя люблю», а я не знал, как надо ответить. Она говорит: «Я тебя люблю». А что же надо в ответ-то написать? Я мучился. Но надо было написать так, как в жизни: «Я тебя тоже». Но это было так сложно!

Повесть у меня сразу напечатали. Маленькая, четыре с половиной листа. И её так встретили — Фёдор Абрамов, Василий Белов — с таким триумфом, как будто это явление. Я до сих пор не понимал, в чём дело. И только теперь понимаю. Если нынешнее культурное поле совершенно зарощено сорняками, то тогда оно чистыми русскими душами так вспахано было, что каждое более-менее годящееся произведение рассматривалось любопытным взглядом, как какой-то овощ хороший. Сразу выдирали и рассматривали: «Боже мой, да это можно есть». И поэтому на этом культурном поле мой овощ оказался съедобен.

И так меня сразу подняли, с крохотной повестушки, и возбудили меня. «Это русское явление». Все говорят: «Володя, пиши. Володя, пиши». Белов-то был уже знаменитым, Абрамов-то, вообще, блистал.

Кстати, все деревенские литераторы были мелкие.

По росту?

По росту, да. Ну мороз прибил что ли всех. Это всё северяне, деревенщина, худо одетая, ходила в ремках. Это всё одного покроя люди, неказистые, неприглядные. Но они духовные богатыри, конечно, ну что ты. Белов, Распутин, Астафьев, Балашов, Абрамов...

Вы к 80-летию получили премию «Чистая книга» имени Фёдора Абрамова. Как бы он, интересно, к этому отнёсся?

Я думаю, что не очень. Я с ним постоянно вздорил, спорил. В суровых мы были отношениях.

Хотя он был незлопамятен. И когда мы с ним крепко схватывались, на следующий день, встречая, он уже меня целовал первый.

Абрамов — выдающийся русский человек, и этим всё сказано. Боец и борец, печальник и жалостник. Если сказать, что его все любили, это будет неправда.

Он, по-северному говоря, уросливый был.

Уросливый?

Строптивый. Был дерзко суров. Он не любил тех, кто вял, криводушен. Он не говорил, он просто кричал. Он пытался докричаться. И после таких выступлений выходил весь испепленный. Он и сгорел из-за своего характера, из-за сво-

ей несдержанности. Был он крепок внешне, сухой, горячий, но он просто не мог остыть. Он был, кстати, самый настоящий убеждённый партийный человек, русский коммунист. Это сейчас считается за недостаток, а раньше для очень многих это было огромное достоинство.

Я его и хоронил, из Ленинграда вёз в Архангельск, и до села Веркола... И весь путь плакал. Я как заплакал, так и не мог остановиться. Потом в деревне давай плакать, плачу и плачу, и плачу. Бедный Фёдор, бедный Фёдор! Потом раз — глаза поднял, а напротив меня сидит Крупин Володя — это мой антипод — с сухим бесстрастным лицом и что-то торопливо пишет в записную книжку, сосредоточенно так. Ну я думаю: вот человек какой, работяга, нет бы всплакнуть... Ну думаю потом оплодится большим очерком или даже романом, а всё в нём втуне осело.

Но весь народ плакал. Ночь, темнота, и вот старухи причитывают, вопленицы. В темноте это жутко всё слышится, понимаешь? Сразу вспоминаешь старину... Так плакали сто лет назад, двести, пятьсот, тысячу лет. С воплями.

Да, Абрамов мою первую повесть крепко поддержал. А потом я стал думать: «Я её даже, эту повесть, не перепечатаю. Для меня это стыдно».

А я вот кое-что выписал оттуда. «Небо, сероватое в морозной колкой пыли, было, однако, чисто от туч. По закрайкам оно покрылось пронзительной зеленью, и редкие нити багровой зари прошли её насквозь... И во всём этом была какая-то жестокая красота... И было похоже море на громадное кладбище». Звучит чарующе.

Как и что пишется видимо уже зависит от психики человеческой. Конечно, только от психики.

Некоторые любят писать в простоте и так выстраивают слова, что они простые, приобретают какие-то особые окраски. Вот как Казаков, например, Юрий. У него совершенно простые слова, но тайной музыкой так они освещаются, что проза его становится необыкновенной. Музыка любви так освещает текст этот, что он становится притягательным и волнующим.

Но есть другой тип людей, у которых душа по-другому устроена. И это может быть крестьянская душа. Наверно, я из той части крестьян, что ничего не может сказать в простоте.

А когда я читаю обычный текст, меня он раздражает. Почему? Иногда простую прозу спасает музыка, но в массе-то своей литература без этой музыки. Это становится просто журналистикой, в которой присутствует только информация. Такие писатели говорят: «Главное — идея, главное — информация. А слово — вторично». Но литература — это именно язык. Без языка нет литературы, потому что все, что присутствует в природе живой, сосредоточено в слове, как в живом организме.

Но вот что-то мне не позволяет — просто, по-простому я не могу сказать. Я даже когда с тобой разговариваю, это подсознательно понимаю.

Но вы отлично передаёте живую народную речь, часто совсем простецкую.

А мне всё равно хочется сказать как-то извилисто, макарониной такой...

И при том всё равно я чувствую, что их мало, слов-то. Мне говорят: «Вот как у тебя много слов». Я говорю: «Да слов-то так мало, но мне хочется их откуда-то добыть». Мне говорят: «Но ты же, наверное, добываешь из словарей?».

Предвосхищаете мой вопрос.

Я говорю: «Словарей-то у меня и нет». Многие и думают так, мне и Маканин говорил: «Ты сидишь, обложившись словарями, из одного слово, из другого слово

выдернешь». Ага! Я ему: «А ты попробуй. Хоть миллион словарей ты раскрой».

А тогда откуда эти стародавние волшебные слова, которые только в словаре и встретишь?

Откуда неизвестно... Они приходят откуда-то, как в наследство, от былых родов. Ты понимаешь? Ты спроси, а я их не знаю. Они вспыхивают и приходят откуда-то на помощь твоей душе. Душа косноязычна, а эти слова напояют душу, освобождают её от плесени, волнуют и оседают в ней.

Мне один знакомый еврей сказал: «Куда бы мне, Володя, поехать, чтоб слов таких поднахвататься?» Эти слова где-то живут в человеке. Я писал поначалу обыкновенно, посконно. Но когда сидишь на страничке, они всплывают сами.

Из этого возбуждения и происходит моя языковая страсть, извилистая такая... Мне всё время хочется не просто одним словом изобразить, а подобрать ещё метафору, и ещё, и ещё, чтобы получился водоворот такой, карусель такая... Мне всё кажется, этого слова, одной метафоры мало, она не точно объясняет нечто внутреннее, не внешнее, а подспудное. Ещё добавить, ещё! Потом что-то останавливается. Я скорее точку с запятой ставлю, чтобы прекратить эту карусель.

У народа столько образов! Сочинить образ, как рюмку выпить. Или — берётся корень, приставка. Приза-... Приздумался. Это же чисто народное. И входишь в азарт хмельной...

Мне кажется, вы не только обращаетесь к священной архаике, но и занимаетесь живым словотворчеством... Неологизм тоже может очистить душу?

В романе «Беглец из рая» — я считаю, что возможно это моя лучшая вещь — герой изобретает слово. Там есть идея возможности уничтожения словом греха. Создать какую-то форму звуков, их сбить в одно предложение, которое так воздействует на человека, что если сказать его миллион раз, оно переменяет человека из ничтожного в божеского.

А вы много редактировали свои тексты или сразу писали набело?

Раньше я старался, это сейчас уже сил нет, да и никто не хочет, не ждёт. Раньше звонили из издательства: «Что нового?». Да, побуждали писать. Сейчас не ждут, не побуждают.

Ждут! Наверняка, от руки пишете?

А вот и нет, раньше — на машинке, а теперь на компьютере. Я современный в этом смысле человек. Я считаю, что это ерунда, что надо писать от руки. Якобы рука что-то передает. Рука — это придаточная функция. Пишет душа и голова. Можно писать ногой, между прочим, зубами, ртом, чем хочешь писать...

Компьютер — механизм дьявольский, но хорош тем, что если слово плохое, раз его, и вычистил. А от руки пишу, когда мысль какая заполошная пришла и надо срочно занести. Зато у меня есть всегда много всякого материала. Стол завален бумагами — это всё называется «мясо». Когда я писал роман «Раскол», у меня этого мяса было 1200 страниц. Современная тема, тоже мясо нужно всяческое, часто своё. Отсюда, от груди, от живота, где висит, везде отрежешь и сочинишь. Как Гоголь. Гоголь ведь, прежде чем сочинять, писал на родину: «Пошлите мне какие-то события, кто в чём ходил, что ел».

Потому что должно быть абсолютно всё достоверно, в каждой записи. Почему мне нынешняя проза у большинства не нравится — потому что у них нет достоверной жизни, они сидят и из пальца высасывают. Надо отвечать за слова. Например, у Астафьева в одной новелле, а он уже, казалось, всё знал, Астафьев: «И в головах поставили крест», но крест-то ставят не в головах, а в ногах. Вроде

всё знал, а вот ещё: «Громко пел глухарь» — тоже у него я вычитал. Но глухарь так поет, что его с нескольких шагов не услышишь: «тек, тек, тек» — он поет. Поют тетерева, которых далеко слышно, они так «ля-ля-ля-ля», вот это тетерева. А глухарь токует едва слышно.

Нет, мне без мяса никак. Иной раз тону в материале... А к Проханову придёшь, он пишет роман, а стол чистый, как этот паркет. Ничего, ни одной бумажки. Как он пишет — Бог его знает.

Было такое «поколение сорокалетних», к которому вы относились: Проханов, Ким, Маканин, Киреев... Критик Владимир Бондаренко тогда раздал среди вас анкету, в которой Владимир Крупин написал: «Мы все дружим, кроме Личутина и Проханова. Только они борются друг с другом». Понятно, это было столкновение вашего природного, деревенского и прохановского технократического — заводы и ракеты...

А теперь чисто в человеческом, дружеском отношении, наверно, ближе всего мы с Прохановым. Я думаю, в Проханове сохраняются корневые черты русского народа. Это пламенность и при этом простодушие.

В 1993 году после расстрела Парламента и разгрома газеты «День» Проханов, Бондаренко и поэт Евгений Нефёдов скрывались у вас в деревне.

Я это частенько вспоминаю. Помню, всмотрелся в сторону леса, откуда выныривала в деревню песчаная дорога. Простор такой, распах такой, солнце откуда-то вылупилось, вылезло... А серёдкой улицы бойко шли чужаки. Люди приблизились, поднялись на взгорок, до них уже рукой достать, а я всё не мог признать их. Шли трое незнакомцев, как бы припорошенные голубым сиянием, головами в самое небо. Я поспешил навстречу, уже признавая родных людей, но не веря чуду. Господи, ну откуда могли взяться они на краю света... Ведь только что видел я на экране лохматые копны чёрного дыма, танки... Потом мы по лесу бродили, жарили грибы... Вспоминается, вдруг сообщили по телевизору: «Арестован Проханов». «Го-го-го! — заливался Бондаренко. — Слышь, Проханчик, они тебя сцапали, а ты тут водку жрёшь». — «Тут моя тень...» — «Может и тень, но она ест и пьёт, — смеялся Бондаренко. — Нет, я им так просто не дамся. Я не свинья, чтобы самому на убой... Заберёмся поглубже в лес, выроем землянку, Личутка харч будет носить». — «Каждый русский хоть однажды бывал в бегах, — сказал Проханов и просветлел. — Кто в душе, кто в мыслях, кто наяву».

А со многими распалась у вас дружба после краха Советского Союза?

Оселок — отношение к простому русскому человеку.

Возьмём тех же тобой упомянутых сорокалетних писателей. Мы были и дружны, и близки на основе внутреннего, тайного неприятия советского догматизма. Мы не могли стать отщепенцами, нам претило по натуре диссидентство. Мы не были советские, но мы были русские люди. А потом вот эта русскость у некоторых из нас сползала постепенно в диссидентство и в союз с новоявленными демократами. У меня с Маканиным, с Курчаткиным были замечательные, очень хорошие отношения, пьянствовали вместе, потом они, по моему мнению, сползли в сторонники всяких антисистем. И ведь не то, чтобы они худо знали русскую жизнь или деревню...

То же самое случилось, между прочим, с Астафьевым Виктором Петровичем.

Вы были в хороших отношениях?

Мы были с ним в хороших отношениях... Он глубоким заступом вспахал словесную пашню, и перевернул, и я был в него влюблён прямо... Настолько он пылко и горячо писал... Вот чисто народная говора.

Говоря?

Да... Кто работал много со словом, так это, конечно, Виктор Петрович. Ну просто нас с ним развела судьба.

Я прочитал когда его «Царь-рыбу», это был 1976 год, меня поразила эта разрушающая работа. Там было такое неприятие народа: главный герой — отвратительный браконьер, у которого много ловушек. Чёрт-де что понаписано, такой гадости, такая антирусская чернуха. Я просто был оскорблен этим романом, а Астафьев приехал в Москву и говорит: «Пойдем, Володя, есть блины с икрой». И мы пошли в ресторан, на нынешней Тверской, белоснежные салфетки, кушанья, блины с икрой. Водочку заказали. Ну, поддали, я на язык человек такой суматошный. Ну заговорили, я ему и говорю: «Виктор Петрович, почему вы так ненавидите русский народ?» Он вспыхнул: «Откуда это?» — «Ну вот у тебя в «Царь-рыбе», — говорю, — все написано. За что так?» Он вспыхнул и книгу подписал: «Горячей голове от горячего сердца». Всё, водку допили, и пошли. С той поры года два он со мной не здоровался. Не здоровался.

Вот так ссорятся русские люди.

Это не ссора, это есть постижение истины.

Но ведь была же в его прозе боль за народ?

Да, была... Дальше. Мы поехали на Севера, это уже в 80-м году, была большая делегация, и я там выступаю, и сказал, что «Последний поклон» Астафьева должен быть в каждой русской избе, как Евангелие. Он подошёл и мы расцеловались.

Чтобы после опять рассориться?

И это не есть ссора. Это есть борьба за убеждения, за истины, глубокие истины. Он совсем искривился, когда написал «Печальный детектив», и тогда глубоко нравственно упал. И каким закончилось отращением к народу! Вы помните его завещание с проклятиями? Это страшное явление, между прочим.

Виктор Петрович очень талантливый человек от природы. Но он как-то вот был взбалмошной такой. И при том его воспитала таким советская власть, что он чувствовал себя богом на земле. Уже ему никто ничего не скажи! Он всё знал, всех учил, он всех проклинал... Только безумный человек может проклинать свою победу.

У вас в «Белой горнице» монашенки-беспоповки, как злые ведьмы, оставляют свёрток с младенцем в лесу... Тоже можно обвинить в очернении русских старообрядцев.

Да ладно! Я знал одну, так она двух детей закопала в болоте. А что делать, куда деваться? Незамужняя. А знаешь, иначе какие разговоры по деревне. Жить не захочешь! Дёгтем ворота будут мазать.

А одна хорошая старушка поморская мне рассказывала: «Пришли двое мужиков. Я их убила, и в печи русской сожгла». Я понял по разговору, что это были белые.

А вообще, у меня характер дурной, вот я со всеми и рассорился. Тяжело ко мне относились, я дурак, лезу с упрёками. Белов юбилей праздновал, спрашивают: «Почему Личутина нет?» — «Его пригласи, он начнёт спорить». Но зато перед смертью он ко мне воспылал такой любовью! Я приезжал к нему, целовал, обнимал...

А у вас менялись взгляды?

Да, некоторая трансформация взглядов произошла. Я был скептически настроен к коммунистическим догмам, а когда пришли к власти демократы, я увидел, что это пришли новые бесы.

Я тяжело выживал с семьёй, маленькие дети, хозяйство... Я участвовал в газете Проханова, потому что органически не приемлю жадной до власти и денег орды. Прямо стая волков накинулась на овечью отару, и начали хватать и резать. Этот инстинкт охватил и тех людей, которым сыто пилося и елось при прежней власти. Фарисейство, подлость внутренняя, желание предать... Самое смешное, что коммунисты, с которыми я сталкивался тогда, оказались более чисты и последовательны, гораздо человечнее и совестливее. Именно они были из сердцевины народа.

А над простыми людьми и историей страны насмеялись некоторые из интеллигентской прослойки, уже размягченной, изнеженной и развращённой... Гуманитарии-демагоги, чей вид у меня вызывал чувство рвоты.

У них червь пренебрежения к русскому человеку выедал душу. Они даже этого не осознавали. Простец для них — это навоз или чернозем, на который можно наступать ногой.

Но разошелся я и с простыми. Почему мы тогда разошлись с Курчаткиным Анатолием? Он-то был хороший человек из народа, писатель крепкой выделки, и вдруг из-за его очков, на которые наступили (*писателю Анатолию Курчаткину разбили очки 18 января 1990 года во время потасовки на вечере в Центральном Доме Литераторов либеральной литературной группы «Апрель» и русских националистов из общества «Память» — С.Ш.*) пострадал человек (*предводитель националистов Константин Остаивили, приговорённый к двум годам лишения свободы — С.Ш.*), его повесили перед освобождением. Вот такая вот, казалось бы, водеvilная история с очками закончилась такой трагедией.

У вас двое сыновей. Как детей надо воспитывать?

По Домострою надо.

То есть пороть?

Да... Тот кто не бьет своё дитя, тот не попадёт в Царствие Небесное.

А вы били?

Как бил?... Раньше это были правила, а теперь всё утрачено. Раньше старик-отец, которому шестьдесят, бил своего сына, которому сорок. «Ложись на лавку. Снимай штаны». И лупил его. И тот ложился покорно, и потом говорил: «Спасибо, папаша». А теперь: «Не тронь, нельзя, всё для детей, ребёнок само совершенство». А надо: всё для стариков. А у ребёнка ещё ничего нет, пустой сосуд. Чтоб его заполнить, нужна гигантская работа.

Если родители будут податливы друг к другу, то и дети к ним. Из самолюбия ребёнок вступает в сопротивление. Я полагаю, он и в утробе уже может чувствовать несогласие. Раньше считалось: восемнадцать лет — уже перестарок, в шестнадцать надо родить, ещё в чистоте, когда не бродила, никаких поскакушек, только хороводы...

А вас били?

Мать однажды хотела ремнём налупить, несговорчивого, непослушного. А я убежал от неё... «Вернись!» И не смогла догнать.

У вас есть очерк про художника-самоёда Тыко Вылко и открывшего его Владимира Русанова, моего предка. Мне дороги ваши слова о моём родственнике, хочу их перечитать вслух: «Белолицый и рыжебородый, в шляпе и коротком ватнике, подпоясанном патронташем, сошёл на остров человек, в жилах которого текла кровь странника и землепроходца, который станет известен России и миру как бесстрашный путешественник и даровитый учёный, нашедший себе могилу во льдах Арктики».

Да, было дело. Яркая личность, добавил славу России. Помню, приехал писать обо всём об этом, и о Тыко Вылке Юрий Казаков. Он прочитал этот мой очерк про Тыко и твоего предка и позвал знакомиться. Сидит в номере, пьянствует. Поговорили мы, но так он до Новой Земли и не доехал, вернулся в Москву, но особенная печать лежит на большом литераторе — выдал прекрасный материал. Всё понял, не выходя из номера. Вдобавок к нему Бог послал человека, которого в детстве с отцом, русским промышленником, в метель спас от гибели Вылка. И этот человек всё рассказал Казакову.

Кстати, они рядом в Заполярье — мыс Русанова и остров Личутина.

У меня есть друг по фамилии Мороз, землепроходец и водолаз. Мы ещё незнакомы были, и он в дорогу взял роман «Любостай». Шли они по морю, и тут метель обрушилась, и они пристали к острову Личутина, чтоб переждать непогоду. И на острове Личутина ночью под снежный вой он читал Личутина. А знаешь как мы познакомились? Мороз-то богомольный, и ему один батюшка сказал: «Поезжай к Личутину». А время было тяжёлое, 90-е, жил я в деревне, гонораров никаких, денег иногда даже на хлеб не было, семья, маленькие дети. Вдруг стук в дверь. Стоит здоровенный мужик с огромной бородой, глаза пронзительные, вылитый пугачёвец. Сейчас кистень выхватит и раздвоит мою черепушку бедную. Заговорил, а голос текучий: «Меня к вам послал священник». И помог мне маленько.

Вы поздно крестились?

Несколько раз меня пытались крестить. И перед самым посвящением я ушёл. И вот Валентин Курбатов, уже во второй раз, привёз меня в Псково-Печерский монастырь... Отец Зенон поместил меня перед крещением в бывший капустный погреб, где хранилась прежде зеляница: квашеная капуста, огурцы. Этот погреб превратился в своеобразную гостиничку. Там были белёные стены, люк, сороконожки ползали, что меня ужасно угнетало: большие такие, чёрные струились. Сажу в добровольном заточении, и вдруг открывается люк. Сапоги рыжие стоптанные показываются, ряска старенькая бьёт по голенищам: монашек спускается своеобразный, светленький лицом, с бутылкой вина. Это был архимандрит Таврион. Разлил по стаканам вино, и стали мы беседовать о Боге, о вере... Он научил: «Знай одну молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, прости меня, грешного»». И ещё сказал: «Раз ты в этом погребе сидишь, значит Бог в тебе. Иначе бы ты в этом погребе не сидел». Крестили в студёной речной воде, погружением...

Многие годы вы были отлучены от центральных каналов, вас любили читатели, но не замечала власть и не показывали по ТВ. Что сейчас?

Ничего совершенно! Обструкции я предан давно. Я даже гордился тем, что у меня нет никакой награды от советской власти. Меня и тогда притужали. Значит, я какой-то особенный человек, не пал на колени, не стал лизоблюдом. Натура я притязательная, вспыльчивая. Неуслужлив в словах. Причем меня же двенадцать лет не печатал ни один советский журнал! Одни из-за того, что антисоветчина, другие из-за того, что религиозные взгляды.

И теперь опять то же самое, ни один журнал меня не печатает, и даже когда мне вручили правительственную премию, то нигде не было извещено. На телевидении меня не упомянули, в газетах всех вычеркнули. Знакомый меня за всё это время пригласил один раз в телепередачу, я там сказал всего двадцать слов, и он

мне признался: «Каких трудов стоило мне тебя пропихнуть на телевидение!» Всё продолжается. Я не знаю, в чём там дело...

Но в природе всё движется определённой чередой. Всё вырастает, дряхлеет, появляется подрост, и подрост должен подавить старьё, покрыть его мхом, чтобы его забыли. Такова участь всего живого в природе. Другое дело — вот лежит трупище окаянное, что было деревом, и если пробадаются сквозь землю молодые ёлочки и берёзки, то это продолжение. А каким оно будет, продолжение мною сочинённого и содеянного, мне неведомо...